

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА


ЗНАК
Москва
2007

НИЗВЕРЖЕНИЕ КУМИРОВ

(«ДАР» В. СИРИНА

И «ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ» А. ТЕРЦА)

Один из любимых автором героев романа «Дар», поэт Кончеев, с горечью рассуждает о судьбе русского писателя на чужбине.

Слава?.. Не смешите. Кто знает мои стихи? Сто, полтора от силы, от силы двести интеллигентных изгнанников, из которых, опять же, девяносто процентов не понижают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдет, пока тунгус и калмык начнут друг у друга вырывать мое «Сообщение» под завистливым оком финна¹.

«Мне-то, конечно, легче, чем другому, — размышляет о том же *alter ego* В. Набокова Ф. К. Годунов-Чердынцев, — жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, — во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет — буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя» (315).

Можно поразиться интуиции художника, даже восхититься деятельным временем, намного опередившим загаданный «всего» полвека назад срок возвращения писателя

¹ Роман «Дар» цитируется по изд.: *Набоков В. В. Собр. соч.*: В 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 307 (далее даются ссылки на страницы этого издания).

Набокова на родину. Но никак нельзя забыть при этом об условности такого возврата. Не в смысле физического присутствия только...

Русская литература XX века — что это? Может быть, корректнее было бы говорить о некоем духовном конгломерате? — так далеко разошлись ее ветви. Существует же не одна собственно английская литература, но и литература англоязычная (американская, австралийская, новозеландская и проч.). Иногда кажется, что давно сложилась разнородная русскоязычная литература, в которой наряду с той, что недавно называли «русской советской литературой» (вся ли она была «советской?»), существует литература русской эмиграции, рассеянной по всему свету, и отечественная самиздатовская литература. И не стоит утешать себя тем, что, слава Богу, ныне это уже пройденный этап. Потому что в противовес недавней тенденции приобщения к русской литературе иноязычных писателей явно обозначилась другая, центробежная, тенденция. Не заговорим ли мы скоро о русской литературе ближнего зарубежья?

Конечно, сок общих корней у всех выдающихся русских писателей ясно ощутим. Но для органического единства литературы необходима еще центростремительная сила новых традиций: булгаковских, шаламовских, набоковских. О набоковских традициях говорить вовсе не рано: писатель такого могучего дара не мог быть безответен.

Но в контексте сложных судеб русской литературы XX века набоковская традиция торила трудный путь. Об одном парадоксальном эпизоде набоковского влияния в русской литературе и пойдет ниже речь; в нем проглядываются некоторые тенденции далеко не частного свойства.

Известно, что при первой публикации романа В. Сирина «Дар» в журнале «Современные записки» (1937) четвертая глава, посвященная жизнеописанию Н. Г. Чернышевского, была исключена по воле редакции и восстановлена лишь в отдельном издании произведения в 1952 году. Для Андрея Синявского, конечно же знакомого с новинками «тамиздатовской» литературы, опус Годунова-Чердынцева

о русском революционном демократе был свежим чтением, внятно отозвавшимся в его эссе о Пушкине, начатом в виде писем к жене из Дубровлага (1966–1968) и вышедшем в свет в парижском издании (на русском языке) в 1975 году.

Родство двух этих эссе несомненно. Предвидя реакцию на свое повествование о Чернышевском, автор «Дара» вводит в роман серию критических откликов и, в частности, рецензию профессора Пражского университета Анучина, «известного общественного деятеля, человека сияющей нравственной чистоты и большой личной смелости»:

Автор основательно и по-своему добросовестно ознакомился с предметом; несомненно также, что у него талантливое перо: некоторые высказываемые им мысли и сопоставления мыслей, несомненно, находчивы, но со всем этим книга отвратительна...

Но издевается он, впрочем, не только над героем, — издевается он и над читателем...

В наши дни, слава Богу, книг на кострах не сжигают, но приходится признать, что, если бы такой обычай существовал, книга господина Годунова-Чердынцева могла бы справедливо считаться первой кандидаткой в площадное топливо (263–265).

Читая эту мистифицированную отповедь, невольно вспоминаешь один из первых реальных откликов на книгу Абрама Терца — статью Романа Гуля «Прогулки хама с Пушкиным»². Как и Набоков, Андрей Синявский ожидал такой

² Вот последний абзац этой статьи: «Мне неприятно было писать об этой грязной, хулигано-хамской и, в сущности своей, ничтожной книжке. Общее впечатление от “Прогулок” точнее всего можно выразить словами самого же Терца. Правда, словами совершенно омерзительными. Но, да простит мне читатель, из песни слова не выкинешь. В своей повестушке “Любимов” он в стиле “ультрамоdern” пишет: “Пердит, интриган, в рот”. Именно этот смрад ощутит каждый читатель, если осилит “Прогулки” Абрама Терца» (Новый журнал. 1976. № 124. С. 129).

реакции, но прежде всего — от советских критиков, которые, как и в случае с «Даром», предпочли «Прогулки с Пушкиным» не заметить. В советской печати в то время появилось всего два-три ругательных, конечно, но кратких отклика. Скандал в России разразился значительно позже, уже в годы перестройки, когда большой фрагмент из «Прогулок» был напечатан в журнале «Октябрь».

Оба эссе — и о Чернышевском, и о Пушкине — провоцируют скандал.

Таким образом понятие искусства с самого начала стало для него, близорукого материалиста (сочетание в сущности абсурдное), чем-то прикладным и подсобным... (200).

Он не умел полькировать ловко и плохо танцевал гротеск, но зато был охоч до дурачеств, ибо даже пингвин не чужд некоторой игривости, когда, ухаживая за самочкой, окружает ее кольцом из камушков (207).

Канашечку (Ольгу Сократовну. — С. Ф.) очень жаль, — и очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы (212).

Еще недавно запах гоголевского Петрушки объясняли тем, что все существующее разумно (219).

Таков Николай Чернышевский у Сирина. Под статью ему Александр Пушкин у Терца:

Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости...³

Ну кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку (45).

Из пушкинской лужи, наплаканной Станционным смотрителем, выплыл «Антон-Горемыка»... (89).

Фигура Пушкина так и осталась в нашем сознании — с пистолетом. Маленький Пушкин с большим-большим пи-

³ *Абрам Терц*. Прогулки с Пушкиным. Лондон; Париж, 1975. Далее даются ссылки на это издание.

столетом. Штатский, а погромче военного. Генерал. Туз. Пушкин (167).

Понятна цель подобного эпатажа: смыть хрестоматийный глянец. Но появляются сальные пятна: сплетни о неверности жен, в жанре анекдота пересказанная трагедия судеб (каторга и ссылка Чернышевского, гибель Пушкина). Экая, в самом деле, отважная прямота:

Что, спрошу я прямо, потому что жизнь коротка, и вызов послан, и увертками уже не поможешь, что Пушкин, знавший себе цену, не знал что ли, что века и века все слышавшее о нем человечество, равнодушное и обожающее, читающее и неграмотное, будет спрашивать: ну а все-таки, положила руку на сердце, дала или не дала? был грех или зря погорячился этот Пушкин? Если не вслух, интеллигентные люди, то мысленно, в журналах, в учебниках (65–66).

И эта «прямота», скажем прямо, отнюдь не интеллигентная, присуща как Терцу, так и Годунову-Чердынцеву. Почему так? Может быть, им, тонким эстетам, изменяет чувство стиля? Нельзя же не заметить, что на уровне анекдота писатели не пребывают постоянно, что неподдельная горечь (а вместе с тем множество серьезных и дельных мыслей) то и дело зарницами озаряет их повествования. В конце концов, имеет же каждый писатель право на литературную игру, мистификацию, подобно Пушкину с его «Последним собственником Иоанны д'Арк». Не стоит ли решительно развести Владимира Набокова и Андрея Синявского, с одной стороны, и Федора Годунова-Чердынцева и Абрама Терца — с другой? Ведь разграничиваем же мы Пушкина и покойного Ивана Петровича Белкина и тем более не принимаем (впрочем, иногда уже и принимаем!) за пушкинские — рассуждения Сальери. Особенно, казалось бы, Набоков обезопасил себя в романе «Дар» от прямых обвинений: и скитой критических отзывов на «Жизнь Чернышевского», и двойным заслоном (Сирин, Годунов-Чердынцев), и множеством других подстраховок на этот счет: вспомним, например, постоянно оппонировавших в его эссе реального

«чернышевсковеда» Стеклова и выдуманного Страннолюбского (фамилия которого неизбежно вызывает в памяти лермонтовскую строку: «Люблю Россию я, но странную любовь»). Да и Андрей Синявский, несомненно, не столь уж прямолинеен, как может показаться по приведенным выше цитатам. Он искренне любит Пушкина, но другого, не того, который стал ширпотребом в результате нескончаемого пушкинского юбилея, дпящегося без особых перерывов из года в год (годовщины рождения и смерти, основания Лицея, Михайловской ссылки, Болдинской осени, создания его произведений и т. д. и т. п.). Официозных Чернышевского и Пушкина напрочь не принимают писатели. Того Чернышевского, которого хвалили Маркс и Ленин, — «его памятником советская власть заменила в Саратове памятник Александра Второго» (262). Того Пушкина, который при Сталине был признан «лучшим и талантливейшим поэтом нашей эпохи» (это сказано о Маяковском, но так же трактовали и Пушкина), того Пушкина, строкой которого в юбилейном 1937 году (юбилей гибели — не сталинский ли это изыск?) встречал на Соловки прибывающих узников кумачовый плакат: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!»

Сбрасывать Пушкина с корабля современности, конечно, неучтиво. Но назойливо объюбилеенный прямично-современный Пушкин разве не вызывал сатирических стрел и Зощенко, и Хармса? Правда, Синявский пошел не их путем, а более сложным и опасным — путем Набокова, посягнув на выхолощенное (воспользуемся набоковским определением) «уважение к нему, давно ставшее задушевной условностью». Этот путь ненормален? Но разве нормальна была сама судьба русской литературы XX века? Вызывая (вполне осознанно) огонь на себя, и Набоков, и Синявский избрали сильные средства, чтобы взорвать стереотипы. Все это так. Но все же...

«Гениальный русский читатель, — пишется в «Даре» о романе «Что делать?», — понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист» (248). «Бездарный» здесь — не просто грубое, но обнаженно неверное определение. Если читатель (пусть гениальный! да, именно гениальный, а не за-

урядный!) понял главное в произведении, при всех издержках его стиля — значит, писатель отнюдь не лишен дара. К взыскательному же читателю, в свою очередь, обращены эссе Годунова-Чердынцева и Терца.

Внимательный читатель, конечно же, почувствует особое присутствие в романе «Дар» не только Пушкина, но и Чернышевского: последний также растворен в произведении Набокова, а не только выделен в уничижительный опус. Замечено, что уже в двойной фамилии героя внятным эхом отзываются оба антипода: Годунов — не из царского, а из пушкинского литературного рода, Чердынцев — фонетически сближен с Чернышевским. Замечено, что по архитектонике «Дар» сориентирован, с одной стороны, на не осуществленный до конца замысел Чернышевского (роман, названный «Повестью в повести»), с другой — на роман в стихах «Евгений Онегин». Сонетом, нелепо перевернутым, окольцована четвертая глава «Дара»; онегинской строфой (которая тоже похожа на сонет) оканчивается весь роман.

Прощай же, книга! Для видений — отсрочки тоже нет. С колен поднимется Евгений — но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставлю точку я: продленный облик бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка (329).

«Длинным животворным лучом любимого своего поэта» (134) Набоков освещает весь свой роман. Пушкину здесь подарена жизнь после его гибели:

Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи (91).

О Пушкине неминуемо напоминают фамилии эпизодических лиц романа: Данзас, Керн. Все повествование выткано прямыми и скрытыми пушкинскими цитатами. По пушкинскому камертону автор поверяет здесь все и всех.

Так, в отце героя подчеркнуто пушкинское духовное начало, а эстетическая глухота Чернышевского выявляется в его восприятии Пушкина:

...мерой степени чутья, ума и даровитости критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, пока литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя (228).

Это — в укор Чернышевскому. Но если действительно до сих пор «не оборвана строка» романа «Дар», если в нем чутко предвещаны «завтрашние облака», — то, может быть, это одновременно и провидческая набоковская оценка «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца? Ведь предупреждал же писатель: «не трогайте Пушкина, это золотой фонд нашей литературы» (306).

И еще несколько цитат.

Пушкин иссякал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной в том повинны. Пушкина точил червь пустоты.

Непонятно, когда это успели накурить перед ним столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно и спокойно.

А все удачники жуликоваты, даже Пушкин.

Пушкин — последний из великолепных мажорных людей возрождения. Но даже самый большой из червей не есть ли самый большой червь?⁴

Что это? Блестки из Абрама Терца? Да нет же, это перлы из парижского журнала «Числа» (Георгий Адамович, Борис Поплавский).

В ходе недавнего пушкинского юбилея также чрезвычайно широко были представлены образцы псевдопушкинского китча, наивысшим (в буквальном смысле!) выра-

⁴ См.: Давыдов С. «Пушкинские весы» Владимира Набокова // Искусство Ленинграда. 1991. № 6. С. 42—43.

жением которого стал лозунг, вознесенный на полотнище, протянутом в Москве над Тверским бульваром, и окаймлявший и памятник поэту, и трибуны, с которых самые важные лица произносили казенные речи. На лозунге значилось: «Семейственной любви и нежной дружбы ради...», и каждый, кто помнил эти шуточные стихи поэта, был волен их завершить: «...Хвалю тебя, сестра! не спереди, а сзади» (см. II, 385).

С другой стороны, можно вспомнить один из антиюбилейных пушкинских сборников, постмодернистский образец, по определению рецензента, «самого разнузданного (и в то же время весьма холодно и рационально выстроенного глумления). (...) Авторам кажется, что это по-прежнему остроумно? Увы... В общем, “идет обоз с парнаса, везет навоз Пегаса”...»⁵.

И еще один «терцизм»:

То холодноватое, хлыщеватое, «безответственное», что ощущалось ими (шестидесятниками. — С. Ф.) в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам (272).

А это уже критик Мортус (от *mort* — смерть) из набоковского романа, лицо собирательное из ниспровергателей классики. Продолжая в «Прогулках Пушкина» набоковскую традицию низвержения ложных идолов, Андрей Синявский оказался в антинабоковском стане. Традиция в данном случае сыграла плохую шутку с автором «Дара». Может показаться, что именно сейчас его развенчание идей революционных демократов оказалось пророческим. Уже раздаются голоса, обвиняющие классическую русскую литературу Золотого века в том, что она расчистила путь к Октябрю. Но это своего рода «бунт бессмысленный и беспощадный».

Узнал ли свое в «Прогулках Пушкина» Набоков? А если узнал, то не перечитал ли вновь внимательно свой роман

⁵ Золотоносов М. Пушкин 200 + 1. Забавы взрослых шалунов // Московские новости. 2000. № 34.

1937 года? У американского фантаста Рэя Бредбери есть мудрый рассказ «И грянул гром», герой которого, изъязв из прошлого мельчайшее звено общей эволюции, вернулся в грядущий мир, зримо изменившийся к худшему.

Заметим, что из прошлого герой Бредбери на каблуке вынес раздавленную бабочку. Это уже нечто (хотя и невольно, конечно) набоковское. И пушкинское – в ощущении Набокова.

Вспомним в романе «Дар»:

...отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: «Тут – Аполлон идеал, там Ниобея – печаль», и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался иногда маленький «черный» аполлон (87).

Таковы были прогулки с Пушкиным Владимира Набокова. Он, по собственному признанию, «питался Пушкиным, вдыхал Пушкина – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме» (87).